

ВАСИЛИЙ АВЕНАРИУС

ОПАЛЬНЫЕ

Василий Авенариус

Опальные

«Public Domain»

1905

Авенариус В. П.

Опальные / В. П. Авенариус — «Public Domain», 1905

Историческая повесть для юношества из времен царя Алексея Михайловича.

Содержание

Пролог	5
Глава первая	13
Глава вторая	19
Глава третья	24
Глава четвертая	28
Глава пятая	34
Глава шестая	39
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Василий Авенариус

Опальные

Историческая повесть для юношества из времен царя Алексея Михайловича

Пролог Опала

Великолепные для своего времени белокаменные палаты думного боярина Ильи Юрьевича Талычева-Буйносова на Басманной в Москве, с многочисленными службами и холодными пристройками, стояли в глубине обширного двора. На улицу выходили только узорчатые тесовые ворота, над которыми висела икона великомученика Георгия Победоносца – покровителя именитого рода Талычевых-Буйносовых.

Из этих-то ворот солнечным июньским утром 1659 года потянулся по направлению к Кремлю целый поезд. Впереди бежали попарно десятка три холопей в долгополых сермягах. Размахивая саженными палками, они кричали во все горло на проезжих и проходящих: «Ги-и-ись!» – что означало: «Берегись!» За холопами скакали верхами, также попарно, несколько боярских «знакомцев», иначе приживальцев и прихлебателей из бездомных дворян, в разноцветных однорядках и шапках-мурмолах, за «знакомцами» же громыхала боярская колымага, запряженная шестеркой на славу откормленных, чубарых коней, подобранных под тигровую масть и сверкавших на солнце серебряной упряжью.

Сидели в колымаге всего двое, но не рядом. На заднем сиденье развалился мужчина лет сорока пяти, в котором, как по его сановитой дородности, так и по богатой узорчатой ферязи и высокой «горлатной» шапке, можно было безошибочно признать самого боярина Илью Юрьевича. Против него на передке примостился сухопарый человечек с быстрыми глазками и шутовскими ужимками. По выпавшей на его долю чести сидеть с самим боярином и по его нарядному цветному кафтану можно было догадаться, что человечек этот состоит при боярине на особом положении. И точно, Емельян Спиридонович Пыхач, при всей зависимости от своего «кормильца и благодетеля», был, можно сказать, ближайшим его другом и приятелем. До тонкости изучив крутой нрав и все самодурные прихоти Ильи Юрьевича и умело под них подлаживаясь, он мало-помалу настолько стал близок боярину, что тот не мог уже обходиться без своего «Спиридоныча», принимал его советы и довольно терпеливо выслушивал от него даже разные горькие на свой счет истины. Правда, что их горечь Пыхач улащивал обыкновенно прибаутками, поговорками и вообще дешевым юмором, прикидываясь простачком и дурачком, за что заслужил также прозвище Емельки-дурачка. Имелись у Ильи Юрьевича в его родовой усадьбе Талычевке, конечно, по обычаю того времени и заправские домашние шуты: карлик и карлица, но перед Спиридонычем те давно уже стушевались и потешали больше молодую боярыню и ее трех малолетних деток.

И теперь Пыхач старался веселой болтовней разогнать тучи с хмурого чела своего патрона, но безуспешно.

– Экий язык у тебя, Спиридоныч! – проворчал Илья Юрьевич. – Звонит, звонит без усталости, что твой колокол церковный.

– А что же, батя, – отозвался Пыхач, – трезвон – дело богоугодное. И нынче вот, покуда ты вчерашнюю дурь свою просыпал, я побывал уже на Иване Великом, по душе назвонился со звонарем...

– Ты про какую такую вчерашнюю дурь поминаешь? – с неудовольствием прервал его боярин.

– Да про то, как ты опростоволосился с Милославским.

– А Кондратыч тебе уже наплакался на меня? Да как он, подлый раб и смерд, посмел...

– Поросянок только на блюде не хрюкает. Да что с него, старой крысы, взыскивать! Ведь он же тебя сызмальства еще птичьей потехе обучил, тобой же в старшие сокольники поставлен, а ты вчерась на царской охоте в Коломенском и его-то, и себя самого твоим лучшим кречетом перед всем миром ославил.

– Чем ославил? – вскинулся Илья Юрьевич. – Салтан мой показал себя притче всех прочих ловчих птиц. И государь, и все бояре на него просто залюбовались, когда он взмыл этак под самые небеса да камнем вдруг как ринется с вышины на молодого гуся, вместе так и упали к нашим ногам.

– И Милославский спросил тебя тут, какая цена твоему кречету?

– Ну да, спросил.

– А ты что же ему в ответ?

– Что такой птице цены нету.

– Эку штуку отмочил! Ах ты, малолетний!

– Что? Что?

– Знамо, мальчонка, да несмышленный. Не поскорби на меня, Илья Юрьич, за правдивое слово. Не любо тебе, когда против шерсти глажу? Нешто муж истинно рассудливый, а тем паче думный боярин, может так ответить тестю государеву? Ведь Милославский в вашей боярской думе, да и во всех иных делах на Москве, один, почитай, верховодит.

– Не один, а вкупе с другим моим недругом, Морозовым. Оба забрали власть непомерную.

– Час от часу не легче: Морозов – дядька царский. Брыкливость с ними, батя, надо побоку. Не тот борец, что поборо, а тот, что вывернулся.

– Так что же, по-твоему, мне должно было сейчас так и уступить Салтана за сходную цену?

– Боже тебя упаси! Не продать, а в дар принести с земным поклоном да с присяжкой: «Прими, мол, милостивец, за честь себе поставлю».

– Ну, уж нет, извини! Иное дело, кабы самому государю поднести...

– И распрекрасное бы дело! Экий ведь ты недогадливый! Русский человек всегда задним умом крепок. А теперь того и жди на себя всяких потворов и наветов.

– И пускай! Боюсь я их, что ли? Еще вечор за ужином, как отбыл государь, я им обоим, Милославскому и Морозову, правду-матку в лицо так и резал...

– За ужином? Когда шмели в голове уже звенели? Эх, батя, батя! В хмелю ты ведь, подобно льву рыкающему, ходишь вокруг, ищуще, кого бы пожрати.

– Ладно, дурак, будет!

– И глух, и нем – греха не вем.

Оба замолчали. Тем временем громоздкая колымага, окруженная облаком пыли, с глухим грохотом прыгала по немощенной мостовой, изрытой ухабами и рытвинами, колыхая боярина и его друга-приживальца из стороны в сторону, как в челноке на бурном море.¹ Так миновали они Покровку, Маросейку; вот и Ильинка, а за нею сейчас и Красная площадь...

¹ Мостить улицы камнем Москва стала только 30 лет спустя при Петре Великом.

Как вдруг под самым сиденьем боярина раздался предательский треск, колымагу накренило набок, и кузов ее застучал уже прямо по земле.

– Стой же, болван, стой! – заревел Илья Юрьевич вознице.

Но сразу задержать рассказавшихся коней было не так-то просто. Поврежденный экипаж протасило далее еще не одну сажень. Когда подбежавшие холопы высадили своего господина из колымаги, то выяснилось, что одно из задних колес отскочило, и ось, волочась по земле, с конца расщепилась. Хотя само колесо и уцелело, но укрепить его на расщепленную ось нельзя было и думать. Слезший с козел толстяк-кучер не успел еще сказать что-либо в свое оправдание, как получил от боярина такую затрещину, что едва устоял на ногах, после чего смиренно заявил, что рядом в тупике есть кузня, где ось живой рукой починят.

Кузнец, действительно, оказался мастером своего дела, но работал, что называется, с прохладцей. Среди двора кузницы, на самом солнцепеке, лично наблюдая за его работой, Илья Юрьевич горячился, рвал и метал, не скупясь на разные отборные словца из своего обширного бранного словаря. Но дело оттого мало спорилось, сам же он от солнечного зноя и душевного волнения дошел, так сказать, до красного каленья. Когда, наконец, час спустя, колесо было опять водворено куда следует и боярина подсадили обратно в колымагу, на теле у него не осталось сухой нитки, а с пылающего лица его пот катил в три ручья.

– Вперед! – отдуваясь, крикнул он и грузно опустился на подбитую конским волосом подушку. – Хоть бы до конца смотра поспеть.

Возница щелкнул кнутом, и шестерка вывезла колымагу из тупика, предшествуемая тем же многоголым пронзительным криком холопей:

– Ги-и-ись!

Миновав и Кремль, понеслись по Пречистенке. Но подходил уже обеденный час, лавки по пути одна за другой запирались, а когда впереди открылось Девичье поле, и за ним над зубчатой стеной Девичьего монастыря заблестали золотые маковки церковные, – с поля навстречу боярскому поезду повалил толпами народ.

– Вот и народ уже расходится! – заволновался снова Илья Юрьевич. – Стало быть, смотру конец, а все это распроклятое колесо!..

– Ну, тишайший царь наш с тебя не взыщет, – старался успокоить его Пыхач. – А к иордани все еще поспеешь.

Дело в том, что кроме обычных двух торжественных водосвятий: 6 января, в день Богоявления, перед Кремлем у Тайницких ворот, и 1 августа, в день Происхождения Честных Древ Креста, под Симоновым монастырем, – при царе Алексее Михайловиче во время великих смотров на Девичьем поле сооружалась еще особая летняя иордань на большом пруде около Девичьего монастыря. Служила она, однако ж, не для водосвятия, а для купанья в платьях молодых стольников и стряпчих, запоздавших на смотр. Само по себе уже такое публичное купанье в летнюю пору, взамен заслуженных батоков, считалось у придворной молодежи того времени своего рода удалством. А так как погружившиеся в иорданскую купель приглашались еще затем, не в пример другим сослуживцам, к трапезе в царских шатрах, то находилось немало охотников нарочно запаздывать на смотр.

К боярам, как к самому почетному сословию московского государства, эта потешная мера взыскания, понятно, не применялась, тем более, что они, уже в силу своего высокого общественного положения, допускались к царскому столу.

Едва только взмыленная шестерка боярина Ильи Юрьевича остановилась против царских шатров, и сам он, пыхтя и обливаясь потом, при помощи подскочивших к нему холопей выполз из колымаги, как перед ним очутился придворный служитель и с какой-то странной усмешкой пригласил его пожаловать к иорданской купели.

– Чего ты ухмыляешься, глупая твоя образаина? – оборвал его боярин. – А стольники где же, что никто меня тут не встретит?

– Встретят твою милость, встретят; пожалуй, только в пруду.

И, прыснув со смеху чуть не в лицо боярину, служитель отбежал в сторону.

– Что-то, батя, неладно, – буркнул Илья Юрьевич и с высоко поднятой головой направился к пруду, где царедворцы сгруппировались перед самой купелью.

Доносившиеся оттуда плеск воды и дружный хохот свидетельствовали, что купанье запоздавших придворных чинов уже началось. Но вот зрители поспешно расступились, чтобы не быть забрызганными выкупанным сейчас молодым стольником. Выступал он бодро и весело, как ни в чем не бывало, хотя вода струилась ручьями со всего его нарядного кафтана и с прилипших к мокрому лицу волос. На шуточные же замечания окружающих он, отряхавшись, не оставался в долгу:

– Аль завидно, что потешил государя-батюшку? Что царской хлеба-соли отведаю, слаще вашего пообедаю?

В это самое время подошел и Илья Юрьевич. Взоры всех с весельчака-стольника невольно обратились на почтенного боярина. Завидел его и Борис Иванович Морозов, бывший дядька, а теперь ближайший советчик молодого царя, и двинулся ему навстречу.

– По здорову ли, боярин? Не огневица ль у тебя, упаси Бог?

Сквозь притворное участие Илье Юрьевичу слышалась явная ирония. Но еще более портить натянутые отношения с Морозовым не приходилось, и он ответил отрывисто, с сухой вежливостью:

– Спасибо за спрос... Жарища адская... дышать нечем...

– От вечерошнего, знать, еще не остыл? Мы тут так и чаяли, что тебе в охоту искупаться. Пожалуй, батюшка, пожалуй. Эй, вы, купальные! Подсобите-ка боярину добраться до купели.

Илья Юрьевич от неожиданности просто обомлел. Не пришел он еще в себя, как подбежавшие к нему двое «купальных» из придворных «жильцов» подхватили его уже под руки и повлекли к купели. А вон, против купели, восседает на кресле и сам государь, около государя, опираясь на свой посох с золотым набалдашником, стоит маститый тесть государев, Илья Данилович Милославский, кругом – все прочие приближенные царя: Ордын-Нащекин, Трубецкой, Куракин, Шереметьев, Стрешнев... И все-то, глядя на боярина, влекомого насильно к купели, не возмущены, а улыбаются – все, за исключением самого государя, который, словно его жалея, потупил очи в землю.

С силой оттолкнув от себя обоих купальных, Илья Юрьевич рванулся к царю и упал ему в ноги.

– За что, государь, помилуй, за что?!

Хотя царю Алексею Михайловичу в ту пору не минуло еще и тридцати лет, у него замечалась уже склонность к дородству. При его высоком росте, однако, некоторая полнота тела придавала ему еще только большую величавость. Прямодушное же выражение его благородного, цветущего лица, его голубых глаз смягчало те вспышки гнева, которым он временами был подвержен. Сегодня, впрочем, он не был гневен, в чертах его можно было прочесть только грусть и строгость.

– За что? – повторил он. – Забыл ты, боярин, видно, свои вчерашние негодные словеса про боярскую думу?

– Да тебя самого, государь, за столом тогда уже не было.

– А без меня, по-твоему, у боярской думы нет и чести? Отпускал я тебе вины уже не однажды...

– И на сей раз, может, отпустишь, коли выслушаешь меня, дашь мне оправиться перед тобою.

– Говори.

– Не велеречив я, государь, в словесстве не искусен, как иные прочие. Вечор же у меня в хмелю язык развязался, что на уме, то и на языке. «Благожелателям» же моим то и на руку, давай меня еще пуще подзадоривать. Ну, кровь в голову, в очах круги пошли. Бухнул я им без утайки да без прикрас про нашу боярскую думу все, что и многим, пожалуй, ведомо, да сказать про что ни у кого духу не хватает. Разбери же сам, государь, так ли все, аль нет! На правый суд твой всерабственно уповаю.

– Что скажешь ты на это, Илья Данилыч? – отнесся царь к старику-тестю.

– Скажу, государь-свет, – отвечал Милославский, – что будь то простые застольные перекоры бояр промеж себя, не след бы нам твою царскую милость, Помазанца Божия, и беспокоить. Мало ли что за столом к слову молвится! Но кому ты, государь, доверяешь вершать наиважнейшие дела твоего государства, как не боярской думе? На ком лежит первая забота о благоденствии твоего народа, о величии твоего царствования, как не на той же думе? И еето, вершительницу судеб народных, защитницу престола, думный же боярин зря поносит!

– Да сделал он это, слышишь, в хмелю... – вступился за обвиняемого «тишайший» царь.

– Прости, надежа-государь, но и в хмелю думному боярину негоже забывать достоинство боярской думы. Обиду учинил он не мне, не лично тому или иному из твоих бояр, а всей твоей боярской думе...

– И обиду эту, стало быть, отпустить ему надлежит уже не мне, а боярской же думе? – досказал государь, окидывая окружающих бояр вопрошающим взглядом. – Что же, бояре, как вы положите?

Те переглядывались и безмолвствовали. Тут выступил вперед и заговорил Морозов:

– Дозвольте, бояре, за всех за вас слово молвить. Буде у боярина Ильи Юрьевича имеются на неправильные якобы действия кого-либо из нас явные улики, то не возбраняется ему предъявить оные установленным на то в законах порядком. В рассуждение же того, что обиду купно всем нам причинил он в пьянственном виде, в коем, судя по опозданию его на смотр и по слышанным сейчас от него неподобным речам, и ныне еще обретается, – не благоугодно ли будет думе подтвердить свое давешнее решение, дать ему смыть в искупительной купели все свои перед нами прежние и предбудущие прегрешения?

Предложение бывшего дядьки царского в такой юмористической окраске понравилось, по-видимому, если и не всем, то большинству членов боярской думы.

– В купель его, в купель! – загудели кругом одобрительные голоса.

– Слышишь, боярин? – обернулся царь к коленопреклоненному перед ним боярину. – Требуют того твои же товарищи по думе.

Илья Юрьевич одним движением приподнялся с земли, приосанился и обвел этих своих товарищей пылающим взором смертельной ненависти и презрения.

– Стыдно мне за вас, бояре, – вырвалось у него из задыхающейся груди, – зазорно заседать с вами в единой думе! Лучше уж опала!..

– Будет, боярин! Неладны твои речи, – властно заговорил тут государь, и лазурные глаза его, потемнев, заискрились зловещим огнем. – Ты гнушаешься моей боярской думой и сам желаешь опалы? Изволь! С сего часа ты – опальный и до веку можешь пребывать в своей родовой вотчине.

Разгоряченное лицо опального покрылось мертвенной бледностью: кровь отлила у него к сердцу, и он невольно схватился рукой за грудь. Но враги не должны были считать его окончательно сраженным; он отдал государю уставный поклон и с видом собственной правоты повернулся, чтобы удалиться.

– Пой, боярин! – неожиданно прозвучал тут голос Морозова. – Всемиловейший государь наш по безмерной своей благости внял твоей просьбе – уволил тебя из боярской думы, дабы ты опальным доживал век в своей вотчине. А тебе и горя мало: в Москве ты ведь

все равно ни с кем не водился, а дома, в вотчине, у тебя полная чаша и родная семья. Первую жену бездетную ты в гроб вогнал, да нашел себе потом другую и помоложе, и попригожей, дал тебе с нею Бог и милых деток – чего ж тебе боле? Живи в свое удовольствие, катайся как сыр в масле. Так и опала тебе не в опалу...

– Ты куда, Борис Иванович, речь свою клонишь? – спросил царь, насупив брови. – Аль против опалы?

– Дерзнул ли бы я, государь? Решение твое об опале свято и перерешению, вестимо, уже не подлежит. Но отменено ли сим и решение бояр – омыть его в иордани от зазорной оплошки противу придворного обихода, от коей только что омылись стольники, запоздавшие на смотр?

– Отменить боярское решение во власти самих же бояр.

– Слышите, бояре? Так что же: купать его все же иль нет? Я полагал бы – купать.

– Купать! Купать! – подхватил уже единодушно целый хор голосов. – Но в купели его милости будет, пожалуй, тесно, да и невместно после простых стольников. Так не в пруд ли его?

– Да, да, в пруд!

Поднятый на воздух несколькими купальными, Илья Юрьевич, как ни барахтался, был отнесен под навес купели.

– Хорошенько раскачайте! – донесся еще вслед приказ Морозова.

И вот его раскачали, и он с размаху полетел в пруд.



Его раскачали, и он с размаху полетел в пруд

Своей резкой прямоотой и надменностью Илья Юрьевич нажил себе при дворе куда более недругов, чем друзей. От опального отвернулись теперь и последние друзья. Когда его

грузное тело среди водомета брызг бултыхнуло в воду, кругом послышался злорадный смех, а один известный остролов не постеснялся поглумиться во всеуслышанье:

– Пошел пузырь на дно карасей ловить!

Когда же вслед за тем тело выплыло опять на поверхность, он еще добавил:

– Пузырь и в море-океане не потонет!

Глумление это еще более способствовало общей веселости. Но что бы это значило? Туловище боярина хотя и появилось над водой, но оставалось неподвижным; от головы же его виднелись только кончик носа да борода.

– Он никак обеспамятовал! – первым забеспокоился государь.

– И то, чего доброго, захлебнется, – сказал Милославский. – Я прикажу на всякий случай вытащить его на сушу. Эй, люди! Достать багров!

Не успели те, однако, еще исполнить приказание, как мимо них проскочил какой-то юркий человечек и, на бегу скинув с себя однорядку, прыгнул в воду. Надо ли говорить, что то был не кто иной, как Пыхач? По своему бесправному общественному положению он, наравне с другими боярскими «знакомцами», не имел доступа в избранный круг родовой знати. Но опасение за судьбу своего безрассудного покровителя не дозволило ему остаться в отдалении от него. Подкравшись к группе придворных служителей, стоявших по другую сторону купели, он был также очевидцем описанной сейчас сцены и не замедлил броситься спасать утопающего. Минуту спустя несколько услужливых рук приняли от него из воды боярское тело и, положив на охабень, принялись его откачивать. Старания их в том отношении увенчались успехом, что вода, которой Илья Юрьевич наглотался, хлынула у него обратно из рта. Но когда его опустили опять на землю, он остался лежать без движения с искаженным посинелым лицом и закатившимися глазами.

– Да где же наш дневальный дохтур? – спросил государь. – Чья нынче очередь?

– Очередь немчина Вассермана, государь, – доложил один из стольников. – Да вон он и сам.

Из соседнего шатра, действительно, выбегал только что, утирая себе платком рот, молодой придворный лекарь-немец в сопровождении Пыхача, который ранее других подумал о врачебной помощи.

– Ты где это запропал, мейн герр? – спросил с укоризною царь. – Верно, опять за стопой своего пива?

Молодой врач смутился и в извинение пролепетал что-то по-немецки про африканскую жару.

– А без тебя, смотри-ка, что тут с этим беднягой случилось, – продолжал государь. – Сколько ни качали – все втуне.

Присев на корточки перед обеспамятовавшим, Вассерман расстегнул у него на груди ферязь и камзол и припал ухом к его сердцу. Затем ощупал у него внимательно обе руки и ноги, промычал себе под нос: «Гм!», достал из бокового кармана футлярчик, из футлярчика – ланцет и, засучив боярину правый рукав, чиркнул ему стальным острием немного выше кисти. Крови, однако, не показалось. Лекарь озабоченно помотал головой.

– Paralysis dextra (паралич правой стороны тела), – пробормотал он и повторил ту же операцию с левой рукой паралитика.

На этот раз из ранки капля по капле засочилась буроватая жидкость. Но под давлением пальцев лекаря кровь потекла понемногу обильнее, пока, наконец, не брызнула ярко-красным фонтаном. Оторвав полоску от поданного ему чистого полотенца, Вассерман принялся бинтовать ранку. Тут утопленник испустил вздох и зашевелился.

– Слава Богу! – с облегчением произнес государь. – Что, Илья Юрьич, каково тебе?

Ответа не было: сознание, очевидно, еще не вернулось.

– Но он ведь оправится, останется жив? – отнесся царь вполголоса к лекарю.

Тот на ломаном русском языке объяснил, что за жизнь боярина он отвечает, но что совсем ли он оправится – покажет только время: *habitus* у него *apoplecticus* (телосложение у него параличное).

– Так вот что, Вассерман: ты сам отвезешь его в родовую его деревню Талычевку... Так, кажется, зовут ее, Борис Иванович?

– Точно так, государь, – отвечал с поклоном Морозов. – Там у себя, в семье, он всего верней оправится.

– И я так полагаю. Только вот что, мейн либер герр, – обернулся государь опять к Вассерману, – доколе ты мне его на ноги не поставишь, пива в рот ни капли! Понимаешь: ни капли! Чего испугался? – улыбнулся он, видя, как лицо лекаря вытянулось. – Ну, так и быть, один жбан в день, не больше, меду же – сколько душа пожелает. Место при дворе остается за тобой. Вот Борис Иванович позаботится, чтобы жалованье высылалось тебе из Москвы исправно.

О снятии с Ильи Юрьевича опалы царь ни словом не обмолвился, стало быть, до времени опала оставалась еще в силе.

Глава первая

Новый Зигфрид

Десятый уже год опальный боярин Илья Юрьевич Талычев-Буйносов жил безвыездно в своей Талычевке. В Москве об нем, казалось, вовсе забыли, точно его и на свете уже не было. Между тем, благодаря лекарю-немцу Вассерману, здоровьем он почти совсем поправился, парализованные нога и рука опять его слушались, только ходить он не мог уже без палки, да, наделяя провинившегося холопа пощечиной, не сворачивал уже ему скулы. Духом Илья Юрьевич, напротив, нисколько не воспрянул, а находился в состоянии постоянного мрачного раздумья и глухого раздражения. Да и не диво: кроме тяготевшей еще над ним немилости царя и вызванного этой немилостью отчуждения от него помещиков-соседей, его постигло еще тяжелое семейное горе – смерть второй жены. Радужный хозяин превратился в угрюмого нелюдима. Свою соколиную охоту, составлявшую прежде его радость и гордость, он уничтожил, дозволив своему старшему сокольнику Кондратычу оставить у себя одного только злополучного красавца-кречета Салтана. Своих карлика-шута и карлицу-шутиху он прогнал сперва со своих глаз, а потом променял на породистых быка и корову. Даже из трех детей своих он проявлял теперь видимое расположение только к старшему сыну, 16-летнему Юрию как к будущему представителю старинного рода Талычевых-Буйносовых; младшие дети, 14-летний Илюша и 12-летняя Зоенька, в кои веки удостоивались от него нежного взгляда, ласкового слова. Что касается остальных домочадцев, то из них Илья Юрьевич общался теперь обыкновенно только с двумя: со своим неизменным приятелем-советчиком Пыхачем да с лекарем Вассерманом. Последний играл с ним по вечерам в шахматы и давал ему отчет о научных успехах его сыновей, которых взялся обучать книжной премудрости.

Чему, однако, училась дворянская молодежь на Руси допетровских времен? Вообще говоря, очень немногому. Если сын боярский знал несколько молитв, умел с грехом пополам читать да писать, то и слава Богу. Если же он сверх того был умудрен в четырех правилах «богоотводной науки» – цифири: «аддиции», «субстракции», «мультипликации» и «дивизии», да еще свободно объяснялся на каком-нибудь иностранном языке, то мог рассчитывать на блестящую будущность.

Предоставив приходскому попу, отцу Елисею, наставлять двух боярчонков в Законе Божьем и в русской грамоте, Вассерман взял на себя уроки арифметики, географии, «мировой» истории, истории «натуральной», немецкого языка и «каллиграфии», а также и «свободных» искусств: верховой езды, стрельбы в цель и фехтования, в которых он сам, как бывшой «студиозус и бурш», был большой мастер. Таким образом, ученики его находились в исключительно благоприятных условиях. Впрочем, правду сказать, в «свободных» искусствах они преуспевали все-таки более, чем в науках, особенно Юрий: несмотря на разность лет, он учился тому же, что и младший брат, который был прилежнее, да, пожалуй, и способнее его к наукам. Однажды, в начале мая месяца, научный урок их пришел только что к концу. Чтобы утешить ученикам «горький корень» науки, Вассерман имел обыкновение преподносить им в виде десерта какой-нибудь любопытный исторический эпизод или старинное предание, разумеется, по-немецки, чтобы убить, как он выражался, «двух мух одной хлопущей» (zwei Fliegen mit einer Klappe): «мировую» историю и немецкий язык. На этот раз выбор его пал на древнегерманское сказание о «Роговом Зигфриде». Дошел он в своем рассказе до того места, где Зигфрид, окунувшись в драконову кровь, покрылся весь непроницаемой роговой корой, – когда младший ученик, Илюша, прервал его:

– Да ведь и ты сам, Богдан Карлыч, никак тоже Зигфрид?

– При крещении мне, точно, дали два имени Siegfried-Gotthelf...

– Так почему же ты зовешься теперь только Богданом?

– Почему?... Покойный батюшка мой, видишь ли, был врачом для бедных и в колыбели еще благословил меня идти по его стопам. Затем-то он и дал мне имя мифического победителя драконов, я должен был научным оружием – лекарственными снадобьями поражать злейших врагов человечества, всякие недуги и болезни.

– А второе имя – Gotthelf – дала тебе, верно, твоя матушка?

– Да... Оно должно было служить мне талисманом от людского коварства.

– Да на что тебе еще талисман, коли ты покрыт уже роговой корой? – рассмеялся мальчик.

– То-то, что и у меня, как у Рогового Зигфрида, прилип меж лопаток липовый листок...

– Липовый листок? Я тебя что-то не пойму.

– Листок, конечно, не настоящий, а фигуральный. Листок этот – безрассудные надежды и желания, которые, как лишний балласт, давно бы мне пора выбросить за борт.

И, глубоко вздохнув, новый Зигфрид прикрыл глаза рукой.

В это самое время чуть слышно скрипнула дверь, и в нее просунулась лохматая голова молоденького парня, кивнула нашим боярчонкам и тотчас опять скрылась.

Юрий тихохонько приподнялся и выскользнул за дверь. Илюша не замедлил последовать за ним, но второпях так шумно отодвинул стул, что обратил внимание учителя.

– Куда? Куда? – крикнул тот, но не получил уже ответа.

Кончился урок так не впервые. Искать шалунов, как показал опыт, было уже напрасно. Богдан Карлыч остался сидеть и погрузился в невеселую думу.

Да, этот проклятый липовый листок! С дипломом доктора философии и медицины Виттенбергского университета в кармане он, Зигфрид Вассерман, по завету покойного отца, стал было практиковать среди беднейшего населения родного городка своего Лобенштейна. Но враг силен! Однажды его позвали к заболевшему внезапно придворному истопнику владетельного князя Генриха X Лобенштейнского. Поставил он пациента на ноги так скоро и своей обходительностью расположил его так в свою пользу, что понемногу вся придворная челядь, а наконец и обер-камердинер его княжеской светлости охотнее обращались к молодому Зигфриду Вассерману, чем к брюзге лейб-медику и даже известнейшей в городе знахарке. Не прошло и года времени, как, благодаря протекции того же обер-камердинера, его назначили сверхштатным придворным медиком. Успех ударил ему вином в голову. Он стал пренебрегать своими бесплатными больными, грезил уже сделаться лейб-медиком, когда за такое высокомерие судьба его жестоко покарала. Придворный чин московского царя, боярин Стрешнев, проездом с баденских минеральных вод в свою Москву остановился ночевать в резиденции Лобенштейнского князя. Ночью схватил его опять отчаянный приступ застарелой ломоты, от которой он лечился в Бадене. Старика лейб-медика не велено было тревожить по ночам для кого бы то ни было, кроме самого владетельного князя. И так-то к одру проезжего москвича был призван Зигфрид Вассерман. К утру у боярина все боли как рукой сняло, и он, недолго думая, предложил молодому эскулапу сопровождать его до Москвы. Зигфрид Вассерман еще колебался, потому что о Москве, как большинство его соотечественников, имел самые смутные понятия. Но Стрешнев сумел убедить его, что одних немцев в резиденции московского царя было больше, чем всех жителей в Лобенштейне, а перед великой Москвой крошечное Лобенштейнское княжество исчезало, как туманное пятнышко Млечного Пути на необъятном небосклоне.

– Но здесь я все ж таки придворный медик, хоть и сверхштатный, – возражал Зигфрид Вассерман.

– А там вас сразу сделают штатным, – отвечал искуситель-москвич.

– Придворным же?

– Придворным.

– Да кто мне за это отвечает?

– Я вам отвечаю моей собственной боярской честью. Испытание было слишком велико, Зигфрид не устоял.

Месяц спустя он был уже в Москве, а еще через месяц, действительно, был зачислен в штат придворных лекарей. Но на этом карьера его и запнулась.

Старшие придворные лекаря, из таких же иноземцев, оттирали юного, не в меру прыткого собрата. А тут скончался его единственный влиятельный покровитель боярин Стрешнев. Шел год за годом, прошло целых пять лет, а Вассермана за это время всего-то раза три-четыре призывали к особе его царского величества, да и то лишь в качестве младшего ассистента.

И вдруг новый неожиданный громовой удар – повеление государя сопровождать опального боярина в деревенское захолустье и не отлучаться от него до его выздоровления. Правда, что теперь, к концу десятого года общей их опалы, здоровье боярина почти совершенно восстановилось, прежнего же Зигфрида не осталось уже и в помине. Из гордого победителя драконов он превратился в скромного домашнего учителя, из Зигфрида в Богдана Карлыча, и вместо того, чтобы совершенствоваться в своей любимой медицине, повторял со своими двумя питомцами школьные зада, переливал из пустого в порожнее, как настоящий Wassermann, календарный водолей.

– О, Siegfried, Siegfried! Wo bist du hin? (куда ты делся?) – простонал он, когда картины прошлого промелькнули теперь перед его духовным взором.

У стены стояли клавикорды... Как попал этот иностранный музыкальный инструмент в русскую глушь? Перекупил его когда-то в Москве Илья Юрьевич у одного заезжего музыканта, пленившего его своей потешной игрой. Но, доставленные в Талычевку, клавикорды под неумелыми пальцами боярина и его домочадцев издавали одни жалобные нескладные звуки. Крепко осерчал боярин на мошенника «музикуса», сбывшего ему за высокую цену негодную дрянь, и велел убрать «клевикорты» со своих глаз долой на чердак. Там впоследствии случайно углядел их Богдан Карлыч и получил разрешение поставить их к себе в горницу. Нот он также не знал, но во времена студенчества все же брэнчал по слуху. Здесь, на чужбине, такое брэнчание служило ему единственным спасением от находившей на него меланхолии.

Усевшись теперь за клавикорды, он заиграл сперва торжественный церковный хорал. Тот сменился грустным народным мотивом, а этот – игривой застольной песней. Мурлыкая ее про себя, Богдан Карлыч и не заметил, как в полуоткрытой двери появилась белокурая девочка с огромным букетом полевых цветов в руке. Прослушав два куплета, она на цыпочках подкралась сзади к музыканту и так внезапно сунула ему свой букет под самый нос, что он как кот, фыркнул и расчихался. Она залилась звонким смехом.



В полуоткрытой двери появилась белокурая девочка с огромным букетом полевых цветов в руке

– Ну, конечно, Зоенька! Guten Morgen, mein Herzenskind! (Здравствуй, мое серденько!) – сказал он, оборачиваясь к ней с ласковой улыбкой. – И опять цветы!

– Да, я набрала тебе свежих, эти вот у тебя со вчерашнего дня уже маленько повяли, – отвечала Зоенька, заменяя новым букетом вчерашний в стоявшей на клавикордах вазе. – А что это была за песня, Богдан Карлыч?

– Песня старая студенческая, ein altes Burschen-lied. Что она тебе понравилась?

– Та, что ты перед тем играл, мне больше по душе.

– Но та печальней.

– Вот потому-то мне и милей, покойная матушка баюкала меня всегда одной такой печальной песней. Ты, Богдан Карлыч, верно, ее слышал, про татарский полон.

– Может, и слышал, не знаю, право.

– Душевная песня! Особливо слова. Хочешь я тебе спою?

– Спой, дитя мое, спой.

И запела Зоенька стародавнюю колыбельную песенку о том, как татарове полон делили, как теща досталась зятю, а зять подарил ее своей молодой жене, русской же полонянке:

– Ты заставь ее три дела делать:

Что и первое – то дитя качать,

А другое – тонкий кужель² прясть,

Что и третье – то цыпят пасти.

Эту речь мужа-татарина Зоенька старалась передать грубым мужским голосом, а затем, как теща, укачивающая внучонка, понизила тон до нежного шепота:

Ты баю-баю, мое дитятко!

Ты по батюшке злой татарчонок,

А по матушке мил внучоночек,

Ведь твоя-то мать мне родная дочь,

Семи лет она во полон взята,

На правой руке нет мизинчика.

Ты баю-баю, мое дитятко!

И, вся просветлев, как дочь, узнавшая вдруг свою мать, девочка распростерла вперед руки, точно хотела броситься матери на шею, и закончила порывисто и звонко:

– Ах, родимая моя матушка!

Выбирай себе коня лучшего!

Мы бежим с тобой на святую Русь,

На святую Русь, нашу родину!

Голубые, как незабудки, глазки маленькой певицы блистали алмазами наворачнувшихся на них слез. И сентиментального немца-учителя стародавняя русская песня защемила, видно, за сердце.

– Славная песня! – сказал он. – Надо ее записать и перевести на немецкий язык.

– А потом и сам петь ее тоже будешь?

– И сам петь буду. А музыку сейчас подберем. Он стал подбирать.

– Постой, не так! – остановила его Зоенька и своими детскими пальчиками отыскивала требуемые клавиши.

– Ага! Теперь знаю, – сказал Богдан Карлыч и уже полными аккордами передал основную тему песни.

– Голубчик, Богдан Карлыч! – возвала тут к нему девочка. – Научи и меня это играть!

– А что батюшка твой скажет?

² Кужель или кудель – мочка, вычесанный пучок льна, изготовленный для пряжи.

- Ничего не скажет, он и знать-то не будет.
 - Nein, mein Kind, das geht nicht! Без его апробации никак невозможно.
 - Ну, так попроси батюшку, когда засядешь с ним опять за эти ваши шахматы, тогда он всего сговорчивей, добрее.
 - Хорошо, нынче же попрошу.
- Но ни в этот день, ни в последующие отцу Зоеньки было не до Шахматов.

Глава вторая

Запретные плоды

Молодчик, таинственно вызвавший братьев Зоеньки из учительской, был всегдашний товарищ их игр и шалостей, внук старика-сокольника Кондратыча, Кирюшка. Лишившись обоих родителей еще в раннем детстве, он жил у деда на сокольничьем дворе. Там же, в особом чулане, холилась-лелеялась теперь, как уже сказано, единственная еще ловчая птица, несравненный кречет Салтан. Когда Кондратыч, бывало, выносил Салтана за речку в лес поохотиться на тетеревей, куропаток, диких уток, чтобы кречету не совсем отвыкнуть от своего «ремесла», – баловень-внук неизменно сопровождал старика. Точно так же бывал он с дедом и в так называемой «оружейной» палате боярина, помогая ему сметать пыль с хранившихся там, наравне со всякого рода оружием, разных принадлежностей соколиной охоты. Кроме них обоих да самого боярина, ни одна душа человеческая не имела туда доступа, даже боярчонки. Точно так же было заказано им присутствовать и при вылетах Салтана, чтобы не пристрастились тоже, не дай Бог, к соколиной охоте. Но запретный плод сладок. Еще с вечера узнали они от Кирюшки, что дедко его собирается опять с Салтаном на охоту. На утреннем уроке они ждали только условного знака Кирюшки. Тут он подал им этот знак – и след их простыл.

До того места речки, где стояла лодка, по проезжей дороге было версты полторы. Молодежь же предпочитала ближайший путь через сад, хотя при этом приходилось перелезать – при помощи, впрочем, приставленных досок – довольно высокий забор. Таким образом, когда Кондратыч со своим кречетом на руке более удобной окружной дорогой доплелся до лодки, то застал уже сидящими в ней всех трех мальчиков.

– Ну, так! – проворчал старик. – Опять ты, Кирюшка, упредил барчат?

– Полно тебе брюзжать, старина! – прервал его Юрий. – Мы и то сколько времени ждем тут тебя.

– Ох, времена, времена! – вздохнул старый сокольник, садясь к рулю, тогда как внук его взялся за весло и оттолкнулся от берега.

– Да чего ты охаешь? – продолжал Юрий. – Не другим, так нам хоть дашь полюбоваться на своего Салтана.

– Да я не об том! Нешто мне жалко? Я не об том!

– Так о чем же? Иль у тебя горе какое?

– Что наше холопское горе! Нам, талычевцам, на свою долю жаловаться – Бога гневить. Мы – люди серые, рабами родились, рабами и помрем. Об вас, касатики, сокрушаюсь...

– Об нас-то зачем?

– Затем, что без ножа вам голову сняли. Только слава одна, что боярские дети. Родитель опальный – и детки опальные. Не в деревне бы вам тут киснуть, небо коптить, а в Белокаменной состоять при государыне-царице, а потом в комнатных людях и при самом государе.

– В каких таких комнатных людях? – спросил Илюша.

– Неужели ты не слыхал про «комнатных», или «ближних», людей? – заметил брату Юрий. – Это – спальники и стольники: спальники раздевают, разувают государя в опочивальне, а стольники прислуживают ему за столом.

– Опося же жалуются в рынды, в окольничие, в бояре! – досказал Кондратыч. – Да вот не задалось! Связала вам судьба-мачеха резвые крылышки...

– Ну, мы и сами себе их развяжем, взлетим не хуже твоего Салтана!

– И сокол выше солнца не летает. Аль не веришь? – отнесся старик-сокольник любовно к своему кречету, который, сидя у него на правой рукавице, в пунцовом бархатном «кло-

бучке», в суконных «ногавках» (чулочках) и с серебряным колокольчиком в хвосте, гордо поводит кругом своими блестящими желтыми глазами. – Свет ты очей моих! Золотая голова! –

– Сам ведь точно понимает, что безмерно хорош! – восхитился и Юрий.

– Эх-ма! – вздохнул опять Кондратыч. – Кабы и тебя, соколик мой, еще разрядить в сокольников убор да на руку дать тебе Салтана, за одно погляденье рубля бы не жаль!

– А что же, дедко, за чем дело стало? – вмешался в разговор Кирюшка. – У нас в оружейной палате есть совсем новенький сокольников убор, и как раз, я чай, ему впору.

– Нишкни, баламут! Страху на тебя нет.

– И сами уж добудем, – вполголоса заметил Кирюшка Юрию.

– Что? Что ты там опять намыслил, непутный? – вслушался дед. – Повтори-ка!

– Глухим двух обеден не служат.

– Ай, зубоскал! Смотри ты у меня: десятка два как засыплю...

Кирюшка в ответ только свистнул: давно уже перестал он верить угрозам добряка-деда.

Извилистая речка только что огибала выдающийся мысок. Тут из-за мыска раздалось отчаянное кряканье, и дикая утка с целым выводком утят шарахнулась с шумным плеском к берегу, заросшему осокой.

– Пусти Салтана, Кондратыч, пусти! – закричал Юрий.

Сам Салтан хищно встрепенулся и готов был сорваться со шнурка, на котором сдерживал его старый сокольник. Но последний неодобрительно покачал головой.

– Что ты, родной! Статочное ли дело – у малых деток убивать их мать-кормилицу! Вот постой, как попадется нам селезень али бодяга-цапля...

Точно по заказу, вспугнутая шумом весел и человеческими голосами, шагах в тридцати от лодки поднялась из прибрежных камышей цапля и с пронзительным криком понеслась низко над водой. Но спущенный сокольников со шнурка кречет, звеня своим серебряным колокольчиком, стрелой помчался уже за ней. Вот он ее нагоняет. Нанести длинноногой птице верный удар сзади, однако, нет возможности. И кречет прибегает к уловке: подбившись под цаплю, он заставляет ее волей-неволей взвиться выше. Она летит уже над лесом, а он обгоняет ее, взмывая вверх еще быстрее, и вдруг, свернувшись в комок, падает на нее стремглав, вцепляется в несчастную когтями и увлекает ее с собой вниз; оба скрываются за верхушками лесной чащи!

– Он ее растерзает! – завопил Илюша вне себя.

– На то он и ловчая птица, – отозвался Кондратыч. – А как он с ней расправится, сейчас увидим.

Говоря так, старик направил лодку к берегу, и все четверо поспешили к месту последней борьбы двух пернатых. Звяканье колокольчика и жалобные крики цапли безошибочно указывали им направление.

Среди кустарника в густой траве билась в предсмертных содроганиях цапля. На груди же ее сидел победоносно кречет и своим крючковатым клювом рвал ей с остервенением горло. При приближении людей, он окинул их злобным взглядом: «Чего, дескать, вам надо? Не мешайте!», после чего еще ожесточеннее затеребил бедную жертву, брызгая кругом кровью.

– Это ужасно! Отними же ее у него, Кондратыч, пожалуйста, отними! – умолял Илюша, отворачиваясь, чтобы только не видеть возмутительной картины.

Менее чувствительный Юрий не спускал глаз с Салтана, хотя в душе и его корбило; Кирюшка же, видимо, упивался кровожадностью кречета и удержал деда за рукав, когда тот протянул уже руку к Салтану.

– Нет, дедко, не трогай, он взял ее с бою.

– Правильно, – согласился старик, – он честно себе ее заработал.

– Честно, как разбойник! – воскликнул Илюша.

– Да разбойник разве не тот же вольный сокол? – возразил Кирюшка. – И я тоже, коли раз жить тут с вами наскучит, возьму дубину и пойду на большую дорогу.

– Ах ты, такой-сякой! – напустился на него дед. – Христа в тебе нет! Да лучше я сам из тебя дубиной душу вышибу!

– Ну, полно, старина! – вступился Юрий. – Не видишь разве, что он смеется? А вот что скажи-ка, будешь ты еще нынче иль нет охотиться с Салтаном?

– Буду ль, не буду ль, вам-то, ребятам, глядеть уже нечего, вдосталь на «разбойника» нагляделись.

– Да ведь до птичьей потехи и батюшка наш прежде охоч был, и сам государь, слышь, написал об ней целую книжку «Сокольниковый Урядник».

– Ну, и ступай, и почитай ту книжку, куда больше ума-разума наберешься, чем от меня с Салтаном.

– Да разве она есть у нас в доме?

– Как не быть, чтобы у боярина нашего ее да не было!

– Но где же она у него? Не в оружейной же палате?

– Там-то вряд ли, книжек там никаких нету, – заметил Кирюшка. – Разве вот в книгохранилище, что в молельне.

– Наверное, что так! Сейчас пойдем туда и разыщем.

– Что ты, миленький! Без спросу? – возразил Кондратыч.

– Да ведь мы ее потом опять на место поставим. Гайда!

– А с лодкой-то как же? С Кирюшкой мне, что ли, назад пришлете?

– Да, хоть с Кирюшкой.

Переpravясь обратно через речку, наши ветреники, однако, так и забыли уже про свое обещание старику, перелезли один за другим через забор в сад и боковой дорожкой незаметно добрались до дому.

Здесь будет кстати сказать пару слов о самой талычевской усадьбе.

Вся усадебная площадь, версты три в окружности, была обнесена кругом сплошным бревенчатым забором. Единственным в нем входом служили дубовые ворота с башенкой и с такой же иконой св. Георгия Победоносца, как и на воротах талычевских палат в Москве. Кроме главного господского дома с людскими избами, с большим плодовым садом и огородами, на усадебной площади были расположены всевозможные хозяйственные постройки: поварня, медоварня, винокурня, конюшня с кузницей и дворы скотный, птичий и сокольниковый. Господский дом состоял, собственно говоря, из нескольких строений в три, в два и в одно жилье, возведенных в разное время, но соединенных между собой крытыми переходами. Срединное здание, в три жилья, с вышкой, имело крыльцо на столбиках и с прорезными перилами, а на наружных стенах здания и на ставнях окон были намалеваны доморощенным художником – нельзя сказать, чтобы очень уж искусно – разные звери, птицы и растения. К тому же некогда яркие краски успели значительно выцвести и кое-где облупиться. Тем не менее, благодаря именно этой своеобразной живописи, здание выделялось довольно выгодно среди окружающих некрашенных строений и составляло немалую гордость всех талычевцев.

Наши мальчики, не желая быть замеченными, из садовой калитки не направились, конечно, к главному крыльцу, а шмыгнули в одно из боковых крылечек, откуда рядом переходов пробрались затем и в молельню.

Молельня, иначе «крестовая палата», была настолько обширна, что в ней в особых случаях совершались общие молебствия и для всех домочадцев. Обыкновенно же она служила только для утренних и вечерних молитв самому боярину.

В глубине молельни виднелся иконостас, задернутый по железному пруту зеленой шелковой пеленой с вышитым на ней золотым крестом. Когда при общих молебствиях пелена эта отдергивалась, то в верхнем поясе иконостаса являлись, по бокам Животворящего Креста, вделанные в стену два больших, старинного письма образа Богоматери и Апостола Иоанна Богослова, в нижнем же поясе – изображения двенадцати Страстей Христовых.

С середины сводчатого потолка, расписанного в виде исходящих из центра золотых лучей, спускалась длинная рука, держащая золоченую деревянную люстру. На люстре было двенадцать подсвечников, и под каждым подсвечником было подвешено по деревянной птичке с распростертыми крылышками, так что при всяком движении воздуха эти птички порхали точно живые.

Когда-то, даже во время торжественного богослужения, порхающие птички не в меру развлекали маленьких боярчонков.

Теперь оба они без оглядки подошли к «книгохранилищу» – «вальящетоу» (резному), орехового дерева поставцу. Боярину и в голову не могло прийти, что кто-либо осмелится без его разрешения заглянуть в поставец, а потому ключ не был вынут из замка. При всем своем легкомыслии, Юрий не без тайного трепета повернул ключ в замке.

В поставце оказалось три полки. На двух верхних были размешены в строгом порядке книги печатные и писанные в переплетах из свиной кожи, на нижней лежали аккуратными же пачками рукописи *in folio* и пергаментные свитки.

– Начнем подряд, – сказал Юрий, принимаясь за книги на верхней полке. – Да это никак все книги духовные...

Действительно, для человека, интересующегося вопросами религии, выбор был здесь довольно разнообразный: рядом с «Евангелием напрестольным», «Псалтирью», «Акафистами Богородичными» можно было найти и книги не богослужебные: «Житие Чудотворца Николая», «О Антихристе и о иных изрядных вещах», даже «Алкоран Махметов» в переводе с польского.

– Постой, Юрий, не тут ли? – сказал Илюша, обращаясь ко второй полке, и начал читать заглавные листы: – «Книга о ратном строе...», «Право, или Уставы воинские Галанской земли...», «Конский лечебник...», «Сокольников Урядник». Вот он, значит, и есть!

– Покажи-ка сюда! – сказал Юрий и, выхватив у него книгу из рук, принялся ее перелистывать.

– Да дай же и мне взглянуть немножечко! – попросил наконец Илюша, глядевший ему через плечо.

– Нет, уж лучше я тебе что-нибудь прочитаю. Ну вот, слушай:

«И зело потеха сия полевая утешает сердца печальные и забавляет весельем радостным и веселить сия птичья добыча. Безмерно славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и утешительна и челига³ кречатья добыча. Красносмотрителен же и радостен высокова сокола лет. Премудра же челига соколя добыча и лет. Добровидна же и копцова добыча и лет. По сих доброутешна и приветлива правленных ястребов и челигов ястребых ловля, к водам рыщение, ко птицам же доступание... Будете охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою, зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие».

– Ведь вот как тут расписана птичья потеха! – прервал свое чтение Юрий. – Точно воочию видишь перед собой всех этих кречетов и соколов, ястребов и копчиков...

– Только не самих сокольников, – досказал Илюша. – Хоть бы одного-то сокольника раз увидеть во всем его уборе!

Юрию вспомнилось давешнее предложение Кирюшки, и он усмехнулся.

– А хочешь, я сейчас покажу тебе такого сокольника?

³ Челиги – самцы ловчих птиц.

– Откуда ж ты возьмешь его?

– А вот в оружейной палате.

Дверь туда из молельни была всегда замкнута, ключ же от нее висел рядом на стене. Теперь ключ торчал уже в замке, а сама дверь была полуотворена.

– Э! Да Кирюшка никак уже там. Кирюшка! Ты там, что ли?

– Здеся! – откликнулся из-за двери Кирюшка. – Милости прошу к моему шалашу.

И без такого приглашения два брата-шалуна не утерпели бы уже заглянуть в заповедную для них палату.



Глава третья

Самозванный сокольник

Талычевская оружейная палата по своим размерам была немногим меньше молельни, по разнообразию же скопленных в ней воинских доспехов сделала бы честь иному арсеналу. Одна стена была увешана в виде затейливого узора огнестрельным и холодным оружием того времени: фузеями, мушкетами и пистолетами, саблями, палашами и кинжалами; другую стену украшали сверкающие сталью, серебром и золотом древнерусские копыя, луки, колчаны, обухи, топорки, рогатины, бердыши, мечи, брони, шапки ерихонские...

С такой-то шапкой-ерихонкой на голове, с броней-бехтерцем на груди, с мечом в правой руке, с бердышем на левом плече Кирюшка вышел теперь навстречу входящим боярчонкам и отвесил им поясной поклон.

– Здравия желаем, господа честные! Добро пожаловать!

– Ах ты, шут гороховый! – рассмеялся Юрий. – А где же тут сокольничьи снаряды?

– Да вот, в пролете.

В глубине указанного пролета, действительно, виднелись развешанные по стене принадлежности соколиной охоты и насаженные на подставках чучела разных ловчих птиц.

– Чучела эти набил сам дедко, – объяснил не без гордости Кирюшка. – А вот и убор сокольничий.

– Подай-ка его сюда.

Натянув на плечи поданный ему Кирюшкой сокольничий кафтан, а на ноги сафьяновые сапоги, Юрий подвязался струйчатым поясом, насадил набекрень горностаевую шапку, перекинул через плечо бархатную сумочку с вышитой на ней золотом вещей райской птицей «гамаюн», а на руки надел рукавицы с «притчами в лицах», т. е. с изображением тех наказаний, которым подвергается сокольник за нерадивое исполнение своего долга.

– Теперь достань-ка еще трубу.

– Не дудку ли? – подтрунил над ним Кирюшка, снимая с гвоздя серебряный охотничий рог.

– Ну, рог, что ли! А это еще что?

– Это тулумбаз и вошага, – с важностью знатока объяснил внук старика-сокольника, подавая ему небольшой бубен и плетку. – Тулумбаз подвешивают к седлу, а вошагой бьют по тулумбазу, чтобы вспугнуть дичь для сокола.

– А где же конь мой? – усмехнулся Юрий. – На тебя самого верхом сесть?

– Нет, я – воин, и конем быть мне не пристало. Вот кабы ты потрубил в рог да поиграл на тулумбазе, так я показал бы тебе разные воинские «артикулы».

– Да сам-то ты откуда их знаешь?

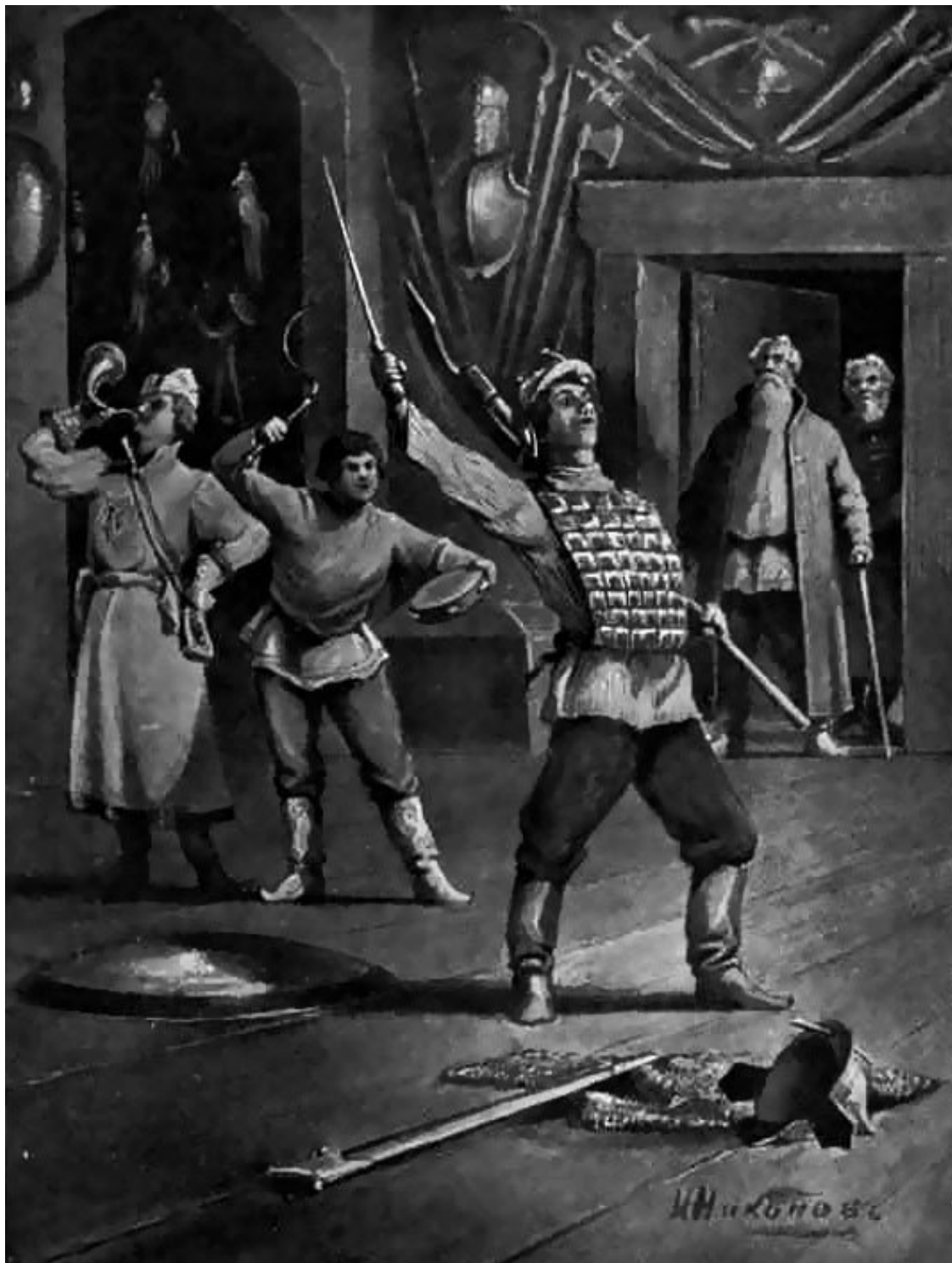
– А видел их летось в городе, когда ездил туда с дедкой.

– Ну, так вот что: я буду трубить, Илюша поиграет на тулумбазе, а ты выделявай какие знаешь штуки.

И вот палата огласилась нестройными звуками охотничьего рога и бубна, звучавшего, впрочем, под ударами плетки скорее вроде барабана; Кирюшка же важно зашагал назад и вперед, выделявая мечом и бердышом свои воинские штуки.

Так ни один из них не заметил, как на пороге молельни выросла грозная фигура боярина Ильи Юрьевича. Только когда грянул его громовой голос: «Что за содом такой!», все трое разом оглянулись. Сумрачное лицо боярина горело огнем, а тучное тело так и колыхалось от едва сдерживаемого гнева. Совершенный контраст представляла выглядывавшая

сзади рожица боярского приятеля Пыхача с расплывшейся лукавой улыбкой: присяжного потешника, видимо, забавляло замешательство трех проказников, застигнутых врасплох.



На пороге молельни выросла грозная фигура боярина Ильи Юрьевича

Юрий и Илюша так и застыли на месте. Кирюшка же, уронив с перепугу на пол бердыш и меч, заметался по палате, как угорелый, и вдруг исчез в углублении стены, где хранились принадлежности охоты.

– Куда? Куда? – закричал боярин, стуча тростью по полу. – Назад!

Но притаившийся за пролетом парень счел за лучшее не подавать пока и голоса.

- Знает кошка, чье мясо съела! – заметил Пыхач, протискиваясь вперед.
- Пропусти-ка меня к нему, батя.
- Да мне бы только броню снять... – откликнулся тут плаксиво Кирюшка.
- Заговаривай, брат, зубы!

И, отыскав его за пролетом, Пыхач вытащил его оттуда за шиворот.

- Ползи, червяк, и бей челом!

Пополз «червяк» на коленях к боярину и стукнулся лбом об пол.

– Прости меня, о сударь боярин! Стоит ли тебе о всякого червяка марать твою боярскую трость?

Илье Юрьевичу, в самом деле, как будто не хотелось осквернять трость, и он с гадливостью пнул только сапогом в голову кающегося грешника.

- Пошел вон!

Тот не дал повторить себе приказа и юркнул в дверь.

– А ты, Спиридоныч, – продолжал Илья Юрьевич, – ступай-ка, скажи Кондратычу, чтобы хорошенько проучил внука батожьем.

– Не премину, батя, не премину. Сам же ты тут своеручно сейчас учить своих юнцов будешь? Дело хорошее, хорошее дело. Ну-ка, малые, изготовьтесь!

- Будет тебе язык чесать! – буркнул на шутника боярин. – Уходи!

– Без свидетелей, знамо, повадней. Только трость-то свою все лучше в угол поставь, неравно либо ее, либо их повредишь. Три раза прости – в четвертый прихворости.

– Ладно, старый болтун, говорят тебе! Терпение патрона, очевидно, готово было лопнуть.

Мигнув украдкой мальчикам, чтобы не падали духом, Пыхач также выскользнул вон.

Притворив за ним дверь, Илья Юрьевич обратился теперь к сыновьям.

- Подойдите-ка оба ближе.

Илюша подошел первым, Юрий сделал два шага и остановился.

– А ты-то что же? – спросил его отец, постукивая палкой, но, вспомнив вдруг, видно, совет Пыхача, отставил в сторону палку и вместо нее взял плетку из рук младшего сына. – Подойди, слышишь?

Меняясь в лице и кусая губы, Юрий стоял как вкопанный. Илья Юрьевич сам шагнул к нему и щелкнул по воздуху плеткой. Но тут совсем неожиданно удержал его Илюша.

- Не бей его, батюшка! Ведь после тебя он – старший в роде, будущий боярин...

Рука с плеткой опустилась, боярин-отец оглядел с головы до ног «будущего боярина», своего первенца, стоявшего перед ним неподвижно с опущенными глазами. Не по летам высокий, статный, с выразительным юношеским лицом, пылающим теперь от душевного волнения, Юрий в нарядном сокольничьем уборе был так хорош, что родительское сердце невольно смягчилось. Но обнаружить перед сыновьями такую слабость не приходилось, и Илья Юрьевич по-прежнему сурово отнесся теперь к младшему сыну.

- Ты-то что, молокосос? Твоя очередь еще впереди.

- Знаю, и рад вынести наказание и за себя, и за него.

- Заодно уж?

- Заодно. Для Юрия я на все готов.

– Ишь ты какой! – промолвил отец, и по сумрачным чертам его промелькнул как бы солнечный луч. – Ну, что же, коли так, то покажи спину.

По спине Илюши все-таки пробежали мурашки. Но он крепко стиснул зубы и повернулся спиной, решившись ни пикнуть.

Плетка свистнула снова, но спины мальчика коснулась только слегка, другого удара уже не последовало.

– Бог тебя простит! – сказал Илья Юрьевич. – На вот, поцелуй плетку, чтобы больше тебя не трогала, а потом повесь на место.

Илюша принял плетку, но вместо нее прижал к губам отцовскую руку.

– Ну, ну, хорошо... – проворчал боярин, не привыкший к таким нежностям, и провел рукой против шерсти по густой гриве мальчика. – Пора бы тебе опять постричься... А ты чего ждешь, «будущий боярин»? – обратился он полустрого-полушутливо к старшему сыну, стоявшему еще тут же в своем сокольничьем наряде. – Коли быть тебе раз боярином, то сокольником уже не быть. Изволь-ка сейчас переодеться, и впредь сюда ни ногой!

Глава четвертая

Государев указ

В старину и господа на Руси, подобно простонародью, приноравливали свой образ жизни к природе, ложились спать вскоре по закате солнца, вставали чуть свет и к полудню – общему обеденному часу – набирались уже такого аппетита, что наедались, как говорится, до отвала, после чего, естественно, требовались им часа два полной отдыха, чтобы не в меру нагруженный желудок мог переварить все съеденное.

Зато насчет самой пищи и ее сервировки наши предки отнюдь не были привередливы. Похлебки, правда, кроме иноземного бульона, были те же: щи крапивные и ленивые, лапша, уха, солянка, ботвинья и разные прочие, но они не разливались по «тарелям», а подавались в нескольких мисках, по одной на двух, на трех человек. Только перед самим хозяином ставилась отдельная миска. Мясо и рыба, жареные или вареные, разрезались дворецким на тонкие куски и появлялись на столе без всяких соусов, приправ и прикрас французской кухни, а так как вилок тогда еще не было у нас в общем употреблении, то каждый брал с блюда и мясное и рыбное руками, кости и объедки бросал на свою «тарель», а руки обтирал в собственный платок или в поданное прислуживавшими холопами полотенце. Следовавшие затем сладкие яства состояли из оладьев, облитых жидким медом, из пшеничных калачей с медовыми сотами, из разных фруктовых и ягодных взваров, из кути и пастилы. Все это запивалось брагой, пивом, медом, домашними наливками и квасом. Виноградные вина, как редкий «заморский» товар, подавались только при особых okazиях, а простое отечественное «зеленое вино» употреблялось больше при закусках.

Те же порядки соблюдались и в Талычевке, с той лишь разницей, что сам Илья Юрьевич не признавал уже никаких иных напитков, кроме грушевого и малинового кваса.

После бурной сцены в оружейной палате, весть о которой, благодаря болтливости Пыхача, быстро облетела весь дом, обед в боярской столовой начался необычайно тихо. Боярин молча принялся за поданную ему отдельную мису с ботвиньей – его любимой летней похлебкой, и все сидевшие кругом: боярчонки, их учитель и приживальцы-дармоеды обоего пола – хранили такое же молчание, прерывая его только стуком ложек о край мисок и смачным чавканьем.

Бесцеремоннее всех чавкал Пыхач, сопя носом и вздыхая, как от тяжелого труда. Сидел он по правую руку хозяина, который не раз уже неодобрительно косился на обжору, пока, наконец, не промолвил:

– Емелька-дурак в лес по дрова поехал!

– И муха не без брюха, – промычал тот в ответ с полным ртом.

Кругом раздались сдержанные смешки. Вдруг, откуда ни возмись, аэролитом из небесных пространств, в мису Пыхача упал кусок хлеба, и в лицо ему брызнул целый фонтан ботвиньи.

– Ловко, – сказал он, сообразив, видно, кому он этим обязан. – Всякое деяние благо.

И, преспокойно, как ни в чем не бывало, обтерев себе платком лицо, он выудил ложкой хлеб из мисы, а затем стал уплетать его за обе щеки. Такая невозмутимость возбудила между остальными приживальцами еще большую веселость. На беду несколько брызг долетело и до их кормильца-боярина. Просветлевшее было чело его снова омрачилось.

– Кто это бросил? – спросил он, строго озираясь на своих двух сыновей.

– Я, батюшка, – ответил Илюша, пока брат его собирался еще с ответом.

– Ты, тихоня? Пошел же вон!

– Нет, бросил я, – подал тут голос Юрий, приподнимаясь с места.

– Значит, он солгал!

– Не солгал, батюшка, а хотел только выгородить меня.

– Так пошли вон оба!

– Дай им хоть ботвинью-то доесть! Больно уж вкусна, – вступился теперь Пыхач. – Молодой квас – и тот играет. Сам ты, бывало, не так еще бурлил.

– Что-о-о-о?!

Это был уже громовой раскат, предвестник надвигавшейся грозы. Все за столом притихли в ожидании, что вот-вот ударит и молния. Тут внимание боярина было отвлечено конским топотом за окном.

– Кого там еще нелегкая несет? Один из холопей кинулся к окошку.

– Ну, что же?

– Да какой-то верховой. Эй, ты, слушай! От кого прислан и с чем?

– От воеводы, с государевым указом, – донесся явственный отклик.

Илья Юрьевич весь встрепенулся и осенил себя крестом.

– Благодарения и хвала Создателю во святой Троице! Этого указа я ждал ровно десять лет, что не видел царских пресветлых очей. Сердце-вещун говорило мне, что я все же не совсем еще забыт. Ну, детушки, скоро-скоро мы будем в Белокаменной...

– И я тоже! – заликовал Пыхач и захлопал, как ребенок, в ладоши.

– И ты тоже, Емелька-дурак, само собой, на печи туда поедешь. Да где же гонец? Пускай войдет!

И вошел гонец... Да юнец ли это, полно? На плечах – самого грубого сукна полинялый воинский кафтан, в руках – затасканный воинский же колпак с медным репьем на острокопечной тулье, на боку – сабля не сабля, а несуразный какой-то короткий меч... Да и рожа совсем неподобающая: одутловатая, очевидно, от неумеренного употребления горячительных напитков.

– Да это простой ярыжка! – заметил Пыхач и свистнул.

– Не простой, а разбойного приказа! – отозвался осиплым голосом обиженный в своем полицейском достоинстве ярыжка, утирая рукавом свой потный лоб.

– Разбойного приказа? – переспросил Илья Юрьевич, которого также стало брать уже сомнение относительно миссии гонца. – И тебе доверили государев указ?

– А то кому же, коли велено тем указом оповестить всех и каждого, что бежал с пути следования лихой человек...

Разочарование для опального боярина было чересчур сильно. В глазах у него помутилось, он запрокинулся назад и свалился бы, пожалуй, со стула, не подхвати его в объятия Пыхач.

– Воды! – крикнул Богдан Карлыч, вскакивая из-за стола. – А ты, голубчик Илюша, сбегай-ка наверх за моим ланцетом. Ты знаешь ведь, где он? В моем шкапчике...

– Знаю, знаю.

Но на этот раз обошлось и без кровопускания. От вылитой ему на голову кружки воды и от глотка квасу Илья Юрьевич пришел понемногу опять в себя.

– Где ж у тебя указ? – спросил он ярыжку, глубоко переводя дух. Только глухой звук голоса выдавал еще перенесенное им сейчас тяжелое испытание.

Ярыжка достал из-за пазухи завязанный бечевкой сверток, распутал бечевку и хотел только что подойти, чтобы вручить сверток лично боярину, но тот остановил его мановением руки.

– Прими, Спиридоныч!

Пыхач принял и развернул из свертка пергаментный столбец.

– Ну, что?

– Да грамота, кажись, как быть полагается с малой государственной печатью из красного воску на шнурке.

– Прочитай же во всеуслышанье.

– Гм... Глаза-то у меня в последнее время что-то плохо видеть стали...

– Аль, может, и читать уже разучился? Ну-ка, Юрий, ты – грамотный, прочитай-ка.

Юрий взял указ из рук Пыхача и прочитал вслух следующее:

– «7177 году⁴ апреля в 10-й день великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и Белья России самодержец, указал всем воеводам, товарищам их, дьяка и иных чинов людям, коим о том ведать надлежит: по пути следования из престольного города Москвы на железном канате осужденных в Сибирь воров и разбойников, разбив канат и кандалы ножные, утек от приставников приспешник разбойничьего атамана Стеньки Разина, по имени Осип Дементьев, а по прозвищу Шмель, с четырьмя товарищами. А оные товарищи по малом розыске переловлены, реченый же Осип Шмель доселе не разыскан, понеже уповательно возвратился на прежние свои злодейства с вящим устремлением к погублению бедных поселян и рыболовных ватаг. А приметы его: рост выше среднего, плечи широкие, волосы на голове черные, острижены по-казацки, лицо смуглое, с красным рубцом от левого уха через всю щеку, левая рука без мизинца, от роду же ему годов 35. Вследствие чего вменяется каждому к сыску и поиску оного беглого разбойника все удобовозможное и неусыпное старание приложить, а по поимке в железа сковать и в подлежащий воеводский разбойный приказ беспромедлительно представить под крепким присмотром, дабы в дороге утечки учинить не мог, под опасением лишения виновных чести и наказания по всей строгости законов».

– По всей строгости законов! – повторил ярыжка заключительные слова указа с таким самодовольством, словно он сам сочинил указ.

Илья Юрьевич, в мрачной задумчивости выслушавший чтение до конца, покорно преклонил теперь голову.

– Воля государева для меня священна!

– А отписки от тебя воеводе нешто никакой не будет?

– И на словах доложишь.

– Да он мне, поди, еще в шею накроет...

– Доложи, что каждое слово государева указа я твердо памятую и исполнить оный за святой долг полагаю. Всем людям моим будет строжайше наказано неупустительно выслеживать того беглого злодея. Понял?

– Понять-то как не понять... – отвечал ярыжка, поскребывая всей пятерней затылок.

– Ну, и проваливай.

– Эх, Илья Юрьич! – заметил тут Пыхач. – Не видишь, что ли, что у божьего человека слюна бежит, на твое боярское брашно гляючи; облизывается, как теленок, коему на морду соли посыпали. Ужель ты его, великого гонца, так, не солоно хлебавши, ипустишь?

– Оно точно... – подтвердил ярыжка, причмокнув. – Скакал с указом, могу сказать, без передышки, язык на плече.

Илья Юрьевич махнул рукой.

– Ступай в людскую там тебя покормят...

– И напоят! – досказал Пыхач. – Без поливки и капуста сохнет. Потребуй себе добрый оловянный старой браги...

– И кружку зелена вина, – великодушно добавил от себя Илья Юрьевич.

⁴ От сотворения мира; от Рождества же Христова 1669 г.

– Вот на этом сугубое спасибо! – воскликнул ярыжка и, отвесив тароватому боярину и его приятелю по поклону в пояс, поспешил убраться в людскую, чтобы милостивое разрешение, чего доброго, как-нибудь еще не отменили.

Что оно не было отменено, а, напротив, использовано в полной мере, можно было судить уже по тому, что выехал гонец из ворот усадьбы только под вечер, притом сильно покачиваясь в седле и заплетающимся языком распевая:

Как у нашего соседа
Весела была беседа...

Слышалась эта застольная песня еще долго-долго, пока не замерла, наконец, вдали за перелеском. И здесь она не оборвалась бы, если бы из-за деревьев не раздались внезапно подозрительные свистки. Ярыжка схватился за свой ржавый меч и храбро огляделся по сторонам. Как вдруг из чащи справа да слева выскочили какие-то неведомые молодцы с дрекольями, мушкетами и рявкнули хором:

– Попался, вражий сын! Тащи его с лошади!



– Попался, вражий сын! Тащи его с лошади!

Вдобавок огрели его еще пребольно по спине. По счастью, хлесткий улар угодил и по крупу лошадки. Как взмахнет она хвостом, как взовьется на воздух со всех четырех ног!.. Ярыжка чуть-чуть не слетел, не хлопнулся оземь, да вовремя еще уцепился за гриву. И помчала его сивка-бурка, вещая каурка вихрем; у всадника даже дух захватило, воинский колпак с затылка снесло. А вслед ему гоготал тот же ужасный хор:

– Го-го-го! Держи его, держи!

У страха глаза велики. Захмелевший ярыжка разбойного приказа принял нападавших, очевидно, за разбойников, которые ему мерещились везде и всюду даже в трезвом виде. Не слышал он уже, как наши три проказника разразились звонким хохотом.

Возвращаясь с удочками на плече с речки, где наловили сперва мелкой приманки, а затем насадили ее на жерлицы для щук, они не утерпели подшутить над ехавшим им навстречу пьянчугой. Не чаяли они, что их ребяческая выходка будет иметь самые роковые для них последствия.

Глава пятая

Рыболовы

Только что обутрело и занялась заря, как наши юные рыболовы были опять на речке: неравно какая-нибудь зубастая щука перегрызет еще проволоку! Кстати были взяты с собой и обыкновенные удочки, так как на заре всякая рыба, как известно, клюет всего шибче.

Вот они уже в лодке и, отчалив, плывут вниз по течению к тому месту, где расставлены жерлицы. Но Илюша – страстный рыболов, развернув лесу, он насаживает на крючок жирного дождевого червяка, Кирюшка еще с вечера накопал их на огороде полную жестянку.

В былые времена на Руси лесов было куда больше, чем теперь, реки и речки были в той же степени многоводнее, и рыба всякого рода в них, можно сказать, кишмя кишела. Лишь только Илюша закинул удочку, как поплавок у него запрыгал, и вся зеркальная поверхность кругом так и зарыбила, засеребрилась.

– И охота же тебе ловить всякую мелюзгу! – презрительно заметил Юрий. – Вот ужо как заберемся в нашу заводь, где крупнейшие окуни, лини, язи...

– Да ведь я и не ловлю теперь для кухни, – ответил Илюша. – Рыбка играет, ну, и я играю. А! Что, попалась?

Леса его взвилась над водой, и в воздухе засверкала крошечная серебряная плотичка.

– Ведь совсем малюсенькая, а туда же! Тише, не вертись, дурашка, тебе же ведь больнее.

И, сняв рыбку с крючка, он пустил ее обратно в речку.

– Гуляй себе, но вперед, смотри, не попадайся! А знаете ли, братцы, у меня сердце так и стучит: вытащу ли я сегодня хоть одну-то щучку?

– Ну, тебе я и вытаскивать не дам, – объявил решительно Юрий.

– Отчего?

– Оттого, что, как в последний раз, упустишь, пожалуй, самую крупную штуку.

– Не упущу, право, не упущу! Ну, пожалуйста, Юрик, миленький! Ведь жерлиц на всех нас хватит, первая пусть будет твоя, вторая – моя...

– А третья – моя! – подхватил Кирюшка. – Никому не обидно.

– Будь по-вашему, – нехотя согласился Юрий. – А вот и первая. Ага! Есть.

Под навесом прибрежных ив среди зеленеющей осоки торчала из воды воткнутая в илистый грунт сухая палка с двумя вилкообразными сучками. Намотанная на вилки с вечера, тонкая, но крепкая веревка, действительно, вся размоталась и была натянута, как струна. Когда Кирюшка привычным ударом весла подогнал лодку к самой жерлице, Юрий наклонился через борт и овладел веревкой.

– Эге-ге, какая силища! Да нет, сударыня, меня не перетянешь.

То привлекая к себе веревку, то опять ее распуская, он «водил», как на поводу, свою жертву, пока та не выбилась из сил. Тогда он начал, не спеша, забирать веревку в лодку.

Рыба снова вдруг заметалась, задергала в последнем порыве отчаянья. Но судьба ее была решена. Наш опытный рыболов не счел уже нужным долее с ней церемониться, и, как только голова ее замелькала под поверхностью воды, он одним махом вытащил бедненькую из ее родной стихии и – в лодку.

– Ай да щука! – расхохотался Кирюшка. – Порося, порося, превратись в карася!

Попавшаяся на жерлицу рыба, в самом деле, оказалась не щучкой, да и не карасем, а большущим, фунта в три, окунем. Трепля за собой веревку, окунь запрыгал в лодке, как мяч, но Юрий сразу схватил его за жабры.

– Ну, что ж, окунь еще вкуснее, – говорил он, не показывая вида, что несколько разочарован. – Ишь, жадный какой, чуть не всю проволоку проглотил.

Пока он снимал окуня с жерлицы, Илюша наполнил ведро водой. Но окуни удивительно живучи. Несмотря на нешуточное повреждение внутренних частей двойным крючком, окунь и в ведре не утомился, тотчас выпрыгнул бы оттуда, не накрой Кирюшка ведро своей шапкой.

– Теперь мой черед, – сказал Илюша, потирая руки. – Кабы и мне такого же окунища! О щуке я боюсь теперь и думать, чтобы не сглазить.

Увы! Второй жерлицей не соблазнился и посредственный окунек; веревка, как была накануне наvertана на развиленную палку, так и осталась нетронутый.

– Вот мне всегда такая беда! – чуть не заплакал Илюша. – Нет, эта жерлица не может идти в счет.

Но тут запротестовал Кирюшка:

– Как бы не так! Третья жерлица – моя. Таков уговор.

– Да, Илюша, – сказал Юрий, – уговор лучше денег. Пятая жерлица опять твоя. Потерпи.

Что делать! Надо было покориться, потерпеть.

А вот и третья, Кирюшкина жерлица. Как на первой, веревка размотана и крепко натянута. Кирюшка заликовал, отдал весло Илюше, а сам обеими руками взялся за веревку. В тот же миг ее потянуло под киль лодки. Сидевший за рулем Юрий круто повернул лодку, веревка снова выплыла из-под кия и стала описывать широкие круги. Но при этом она обвилась вокруг пучков осоки, крутилась-крутилась, пока, как говорится, ни тпру, ни ну. Кирюшка крупно забранился.

– Чем попусту браниться, – сказал ему Юрий, – ты подтянулся бы веревкой поближе: может, она и поддастся... Да тише, полегче! Оборвешь.

Осерчавший Кирюшка, как бы назло, дернул веревку, что было мочи, и как предсказал Юрий, так и вышло: веревка оборвалась, а сам Кирюшка упал назад и чуть при этом не опрокинул лодку.

– Ведь что я тебе говорил, болван? – напустился на него Юрий. – Еще всех нас выкупаешь в платьях, а рыбу упустишь.

Уйти рыбе, впрочем, было довольно трудно: запутавшись в траве, веревка не давала ей ходу. Оборванный кончик веревки плавал еще на воде, и Илюше удалось подхватить его на свое удище.

– Я знаю, что сделать! – сказал он. – Дай-ка мне, Кирюшка, попытать теперь счастья.

– Ну да! – вскинулся тот. – Ты вот так и справишься!

– Справлюсь, увидишь. Я уступлю тебе зато мою следующую жерлицу. Хорошо?

– А на той, может, опять ничего не будет!

– Ну, голубчик, Кирюшенька...

– Да что ты, Илюша, с ним еще торгуешься? – вмешался Юрий. – Ведь он прогадал уже свою очередь, дал оборваться жерлице...

– Но она все же еще моя, я ее никому не уступлю! – уперся Кирюшка.

– Молчать, холоп!

Это был тот же безапелляционный, повелительный тон, что и у его отца. Кирюшка примолк и злыми глазами следил только за тем, как Илюша с помощью веревки осторожно притянул к себе обвитый ею пучок осоки и принялся выщипывать из пучка травку за травкой. Чтобы облегчить брату задачу, Юрий опустил в воду грузило – увесистый камень, после чего лодку уже не уносило течением. Не прошло пяти минут, как веревка была освобождена от сдерживавших ее трав.

Рыба рванула было опять в сторону, но Илюша по примеру брата принялся «водить» ее. Сам он был как в лихорадке, щеки у него пылали, глаза горели, руки тряслись. Но обмотанную вокруг кулака веревку он держал крепко, и когда, наконец, замучил рыбу, то, не давая ей уже опомниться, стал вытаскивать веревку обеими руками. Рыба снова забилась как бешеная.

– Уйдет, ей-Богу, уйдет! – залепетал Илюша, полный надежды и страха.

Он напряг последние силы, и вот над водой показалась огромная щучья пасть, вся усаженная иглами бесчисленных зубов. Неизвестно еще, удалось ли бы ему одному втащить в лодку это страшилище, в котором потом оказалось до полупуда весу. Но Юрий перегнулся через борт и схватил щуку обеими руками. Хотя она вслед за тем и вырвалась у него опять из рук, но упала уже не обратно в воду, а в лодку. Тут на нее навалился Кирюшка и придавил ее коленом.



Юрий перегнулся через борт и схватил щуку обеими руками

– Зубов-то, зубов полон рот! – говорил он. – Ну, матушка, давай-ка сюда крючок.

Он полез рукой в открытую щучью пасть, но в тот же миг пасть защелкнулась, и Кирюшка заревел благим матом:

– Ах, подлая!

И он нажал на шуку коленом с таким уже остервенением, что выдавил у нее внутренности. Зато пасть ее опять раскрылась, и он мог высвободить руку.

– Какой ты, однако, злющий, Кирюшка! – укорил его Илюша.

– А ты, небось, так и дал бы съесть себя? – огрызнулся тот, обсасывая свои окровавленные пальцы.



Глава шестая

Беглец

– Эй вы, рыболовы! – донесся тут зычный окрик.

Все трое обернулись – и зажмурились: восходившее только что из-за излучины речки солнце брызнуло им в глаза своими ослепительными лучами. Заслонившись рукой от нестерпимого блеска, они различили на противоположном берегу несколько человек ратных людей.

– Вам чего, братцы? – откликнулся Юрий.

– Не видали ль вы тут по берегу прохожего, бродяги?

– Бродяги! Может, и беглого разбойника?

– Может, и так.

– А зовут его Осипом Шмелем?

– Да ты-то, сударик, отколе имя его знаешь?

– Из государева указа. Вчерась привез его к нам на усадьбу ярыжка разбойного приказа.

– Да уж как мы его, дурня, потом напугали! – подхватил, смеясь, Кирюшка.

– Так это вы, что ли, в лесу напали на него?

– Знамо, мы. С пьяных глаз он нас, верно, тоже за разбойников принял. То-то смехоты было!

– Ай, озорники! А мы вот из-за вас тут всю ночь напролет рыскай.

– Знать, боярские дети, что с них возьмешь! – проворчал другой ратник. – Что ж, искать нам еще того Шмеля, аль оставить?

– Как оставишь, коли велено обшарить всю округу? – отвечал сердито первый ратник. – На этой-то стороне ему негде схорониться, мало лесу. А что, сударики, – отнесся он опять к боярчонкам, – на ту сторону как нам ближе перебраться?

– Версты две выше по речке будет мельница, – объяснил Юрий, – там и мост.

– Найдём, спасибо.

И ратники удалились. Мальчики со смехом стали опять вспоминать разные подробности про труса-ярыжку, когда в береговых кустах послышался вдруг подозрительный шорох.

– Чу! Это что? – насторожился Илюша. – Точно человек сквозь кусты пробирается.

– Алибо корова! – подтрунил Кирюшка. – Страсти какие!

– Ч-ш-щ-ш! Тебе все бы только зубоскалить, а как повстречался бы с настоящим разбойником лицом к лицу, так сам дал бы тягу.

– Кто? Я-то!

– Да, ты. От воробья убежишь... Слышите? Вон опять... Что, Юрий, не посмотреть ли нам в кустах на всяк случай?

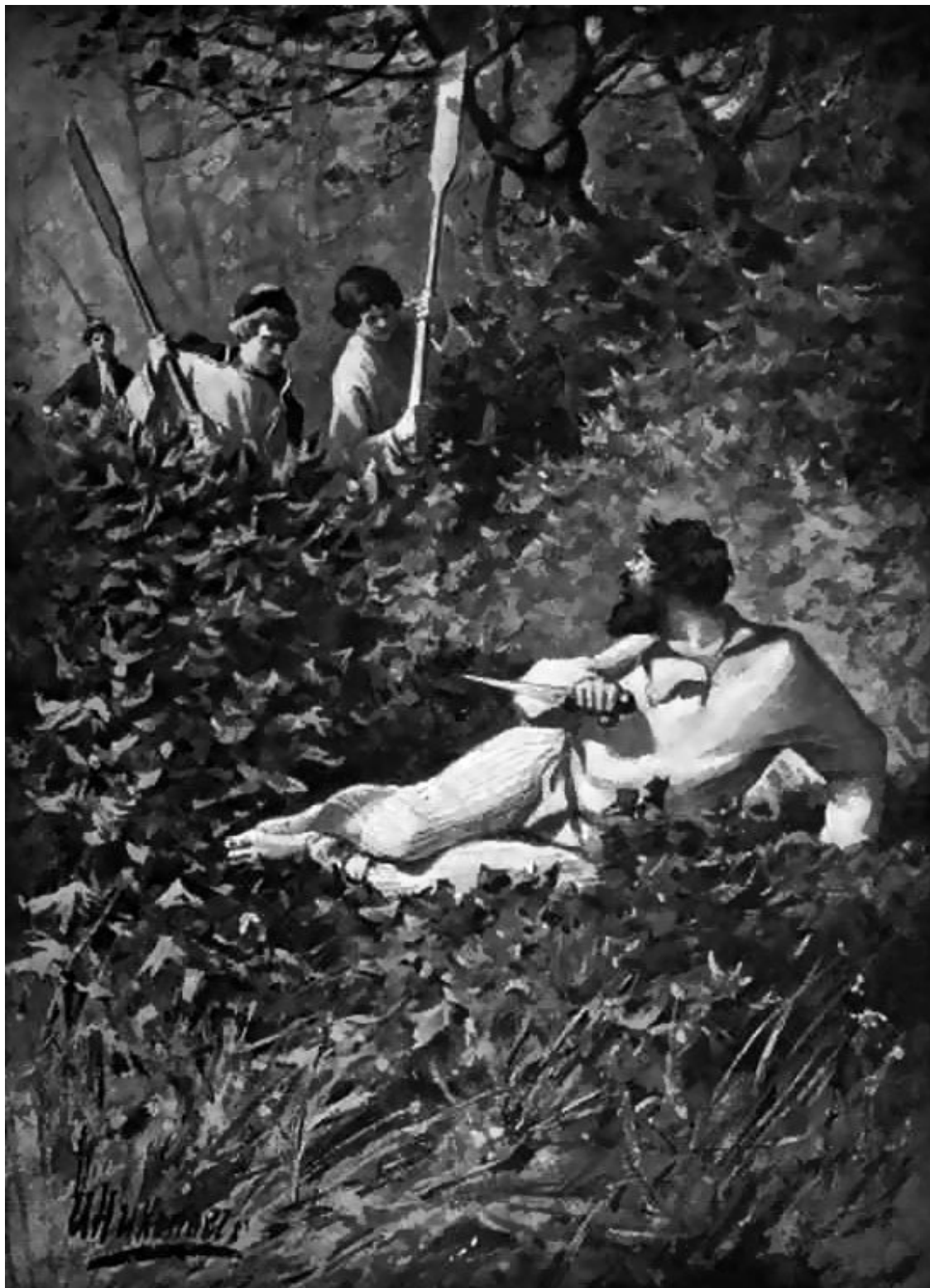
– Да, надо будет. Терпеть не могу, когда этак от дела отрывают! Что же, причаливай, Кирюшка.

Сам Юрий вынул из воды грузило, а когда лодка пристала к берегу, он с веслом в руках первым поспешил в кусты: Кирюшка с другим веслом – вслед за ним. Илюша наскоро еще привязывал лодку, как услышал снова повелительный голос Юрия:

– Сдавайся! Все равно, брат, ведь уже не уйдешь.

Полминуты спустя и Илюша был на месте действия. Среди кустарника полулежал на земле ражий мужик. Одна нога его была в лапте, другая просто в онуче, и онуча была насквозь пропитана запекшейся кровью. Поврежденная нога, очевидно, не давала беглецу уйти. Но сдаваться этак сразу двум отрокам, хотя бы и вооруженным веслами, он не был

намерен: в руке у него блеснул длинный нож, а возбужденные черты лица дышали отчаянной решимостью.



В руке у него блеснул длинный нож

— Идите своей дорогой! — пыхтел он, окидывая обоих свирепым взглядом затравленного волка.

– Коли ты мирный человек, так мы тебя пальцем не тронем, – отвечал Юрий. – Но кто ты такой? Говори.

– Стану я всякому мальчишке ответ держать!

– А я скажу тебе, кто ты: ты – разбойник Осип Шмель, из шайки Стеньки Разина.

– Николи я ни о каком Осипе Шмеле, ни о шайке Стеньки Разина и слыхом не слыхал.

– Кого ты, любезный, морочишь? Сейчас ведь только подслушал, как ратники нас о тебе спрашивали. Да и приметы у тебя все те же, что показаны в государевом указе: волосы черные, лицо смуглое...

– Мало ли кто черен и смугл из лица!

– На левой щеке рубец от самого уха...

– Дерево в лесу рубил, ну сучком и поцарапнуло.

– А левую руку свою ты зачем прячешь?

– Вовсе не прячу!

– Есть ли у тебя на ней все пять пальцев? Покажи-ка. У Шмеля недостает мизинца.

Разбойник понял, что долее отпираться все равно ни к чему бы уже не повело.

– Ну, что же, опознали молодца, так и спорить не о чем, – сказал он совершенно уже иным, упавшим тоном. – А государев указ про меня кому дан? Родителю твоему, что ли?

– Да, родителю.

– Боярину, значит?

– Боярину.

– И прислан от воеводы?

– От воеводы.

– Так... Стало, ты выдашь меня головой своему родителю, а он – воеводе? С безвинного человека будут кожу драть кнутом, а тебе и любо?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.